

IX

Одна статья в «Улице» вырвала у меня кусок хлеба изо рта. Я изобразил в ней парижских депутатов шутами и будущими палачами.

Отныне все оппозиционные газеты закрыты для меня. Я осмелился задеть их кумиры. Бонапартисты засадили меня в тюрьму, представители трехцветного знамени рады будут уморить меня голодом.

На каждой перекладине парламентской лестницы восседает один из пяти левых петухов[54], которых я пообщипал и высек до крови. Они поклялись в отместку выклевывать мне желудок и сердце.

Мне уж не дадут больше заливаться соловьем в литературе, как не позволят бешено лаять в политике. Я вступил в борьбу, весело скаля зубы. Эти зубы должны вырасти и стать острыми, или придется дать их вырвать, просить пощады и пойти лизать им сапоги.

Когда я писал эти двести строк, мною руководила действительно блестящая идея... А они подвергают меня клевете, обрекают на смерть!

– Но зато они указывают на вас народу! – сказал один старый инсургент, сверкнув глазами и пожимая мне руку. – Держитесь крепко, черт возьми, и, когда вспыхнет революция, предместья призовут вас, а их поставят к стенке. Запомните, что я вам сказал, гражданин!

Держаться крепко! Ах, если б только у меня был верный кусок хлеба, чистая сорочка, крыша над головой, одно блюдо в молочной, – пять франков в день.

Но у меня их нет!

Чтобы заработать на жизнь, придется стряпать новые книги, компилировать старые, вымучивать статьи для составителей словарей, которые, платя десять сантимов за строчку, будут считать себя вправе унижать меня, сколько им вздумается. Они заставят меня часами ожидать в передней, будут покачивать головой, как старьевщик, обесценивающий принесенный ему товар, в особенности если тот, кого они эксплуатируют, потерпел неудачу.

Лучше уж разбивать камни под палящим солнцем!

– Я прислушиваюсь к тебе!.. – крикнул мне как-то Ландрио... Этот Ландрио бросил Нормальную школу, чтобы стать секретарем у одной важной особы из Сорбонны. Но особа

отправилась к праотцам, и он остался ни при чем.

Он стал костылем Гюстава Планша[55], но и папаша Планш приказал долго жить!

И вот уже несколько лет, как Ландрио харкает кровью. Задыхаясь от кашля, разбитым голосом он с конвульсивным смехом умирающего Гавроша подстегивает мое честолюбие.

Он все перепробовал в своей жизни, – все, вплоть до попрошайничества.

И не скрывает этого. Он бросает свое признание вместе с остатками легких в лицо обществу, допустившему, чтобы голод изгрыз его грудь, подточил его честь.

Из-за него я даже прослыл негодяем среди людей, которые отделяются одними соболезнованиями и забавляются, когда он изображает сцену попрошайничества.

– Что до меня, – воскликнул я, присутствуя как-то при этом, – так я скорее остановил бы прохожего и закричал ему: «Дай мне на хлеб, или я задушу тебя!»

Они даже за голову схватились.

«А ведь он и в самом деле способен сделать, как говорит».

Да, я скорее предпочел бы напасть на кого-нибудь у лесной опушки, чем попрошайничать у уличного фонаря. Зато я точно так же предпочел бы разбить себе голову о стену или броситься в реку, чем запятнать свою честность. Это орудие я должен сохранить блестящим и острым, как новый клинок

Ландрио снова издевается.

– Твоя чест-ность!!! Да она доведет тебя до могилы, как меня моя чахотка. Только, пожалуй, им придется укокошить тебя: уж очень ты крепок... Но если ты воображаешь, что их словари досыта накормят тебя, и надеешься потягивать через соломинку винцо за счет Лашатра или Ларусса, то тебе, сынок, придется бить отбой... Сейчас это еще менее возможно, чем прежде... уж поверь мне! Эти либералишки сжались тесно, как пальцы на ногах, а ты наступаешь своими сапожищами на их изящные ботинки. В карантин тебя! В лазарет!.. Впрочем, у тебя еще есть выход: ты тоже можешь сделаться чахоточным. Тогда они, может быть, сжалятся над тобой и позволят тебе объяснять слова, имеющие отношение к твоей болезни. А накануне твоей агонии они даже дадут тебе прибавку, потому что для описания чахотки тебе достаточно будет приложить к чистой странице твой окровавленный платок на манер того, как старик Апеллес писал бешенство... Знаешь что? Когда не веришь ни в бога, ни в черта, надо идти в попы. По крайней мере будешь есть просфоры! А ты, дурень, сам изображаешь просфору, которую жрут!

К счастью, у меня есть кредит у Лавера, кормильца нескольких беспутных молодцов, вроде меня, и нескольких почтенных старцев, вроде Туссенеля и Консидерана.

– Да нет же, мы ничуть не беспокоимся!.. Вы расплатитесь с нами так же, как это делает господин Курбе[56] у Андлера... когда вам будет угодно. И не стесняйтесь, если вам понадобится добавочное блюдо. Но только когда вы станете чем-нибудь, вы ведь вспомните о нас, не правда ли?

Все, кто попроще, верят, по-видимому, что в один прекрасный день я стану «чем-нибудь», между тем как «образованные» только пожимают плечами, слыша мое имя.

– На кой черт вы занимаетесь политикой? Если бы с вашим талантом вы посвятили себя исключительно литературе, – перед вами открылось бы блестящее будущее. А так, что у вас впереди? Нищета, тюрьма... Вы просто не в своем уме!

– Я первый бегу от вас, – заметил с многозначительной миной портной одного из богатых кварталов, который уже давно шил на меня и которому я платил... когда у меня бывали лишние деньги. – Как! Вы могли стать депутатом, а вместо того накиннулись на Пятерку! Я не работаю на баррикадчиков, не шью сюртуков, которые будут пачкаться о блузы!

А мне, словно нарочно, нужен был демисезонный костюм.

К счастью, один еврей, обшивающий в рассрочку моих товарищей, согласился снять с меня мерку и предоставил моему выбору весь свой магазин. Но ему как раз нужно сбыть кусок рубчатого плиса, и он во что бы то ни стало хочет вырядить меня плотником.

Я колеблюсь, вздыхаю. Портной взывает к моим убеждениям. Еще немного, и он сочтет меня ренегатом.

– Как, вы стоите за рабочих и стыдитесь быть одетым, как они! Нельзя быть неблагодарным, молодой человек, – кто знает, что они еще смогут сделать для вас!

И этот тоже!

Кому же довериться: инсургенту, содержателю табльдота или этому Шейлоку?

Кому верить?

Мне нечего верить ни одному из них. При всей моей известности, мне приходится снова влезать в ярмо прежней нужды.

Зато на этот раз, когда раздастся клич «к оружию!» и я появлюсь, – меня узнают и, если я буду одет в лохмотья, – преклонятся перед моей нищетой.

Но ведь в ожидании момента, когда можно будет славно умереть, надо жить... а если б вы знали, как тяжело носить костюм от старьевщика, после того как побывал на пути

